

# СОЛЁНАЯ МОЛИТВА

Никто точно не знал, сколько лет нашему отцу Василию. Про нас и говорить нечего – родные, и те, скорее всего, ошибались в подсчётах. Мне ещё бабушка рассказывала, как совсем девчонкой она забралась в поповский сад за яблоками, да напугалась сторожевой собаки и повишла на изгороди.

– Вишу на частоколе, юбка вдрызг разъехалась, а молчу. Собака лает, норовит меня стащить. Ужас, да и только. Тут и подоспел отец Василий. Откуда взялся, кто ж его знает. Только снял он меня с изгороди, яблоки с земли подобрал, в передник мне высыпал и подтолкнул в спину легонько: «Не проказничай больше».

Так вот проводил из своего сада.

А сад его на пологом склоне был. Аккурат перед домом. Через дорожку пройти, колодец обогнуть, вот и калитка. Дом же невеликим казался. Пятистенный, а приземистый. Три окошка на улицу глядят, а боковое на проулок к соседям. Тем и отличался от других, что в палисаднике цвела частая сирень. Невесть какого сорта, за ней больно-то и не ухаживали. Росла и росла, цвела и цвела.

Отец Василий Никольский проживал в доме с матушкой. Они с ней одного росточка были – махонькие, аккуратненькие. Только батюшка скор на ногу: вот только что стоял и разговаривал с народом, и нет его. Матушка же степенна во всем: что в делах, что в разговорах, что в походе. Поповскую улицу проходила, будто по проспекту вышагивала. С соседками разговоры вела, словно наказания давала.

Батюшка и в разговоре скорым был – успевай слушать да прислушиваться. И на ногу такой же: звонарь, бывало, к службе народ созовёт, а отца Василия нет. Только спрашивать люди начнут: «Не случилось ли чего?», а он из-под горы вынырнет и объявит: «В Рузаново бегал, плохо там человеку». А Рузаново километрах в пяти от нас.

Зато как только служба начнётся, вся спесь с батюшки сойдёт. Ровенько справляет благодарение Господу и не налюбуется, не наслушается, как поёт хор. В нём все наши, деревенские. Наделила их природа крепкими голосами и мудростью проникновения в церковное слово. Вот и поют они, доставляя удовольствие и радость прихожанам.

Обмолвлюсь: был среди певчих исключительный человек. Все его звали Иваном Белым. Прозвище он получил за белизну волос, а фамилия у него была тоже громкая – Заньков. Говорили, что услышал его заезжий певец и долго уговаривал поехать в Горький, поступить в оперный театр

– Да куда я? Из дома? От батюшки? От людей? Мой бас и здесь пригождается.

Так вот. Как только Иван Заньков начинал свою партию, отец Василий замирал. В алтаре ли его застигнет голос или с кадилом во время каждения, только остановится батюшка на полушаге и пошёл улыбаться, радоваться.

– А? Каково? – подмигивал он всем, кто пришёл сегодня на службу. А после подойдёт к кануну, простыночку откинёт и начинает к себе людей подзывать.

– Аннушка, ты подойди сюда. На-ко, на-ко, возьми себе пышки, ведь поди голодно с ребятишками. Поедите да и помолитесь.

Аннушка только что мужа схоронила и осталась с троими детьми.

– Авдотьюшка, ты куда это направилась? Возьми-ка яичек. Тебе сейчас ох как они нужны.

И к Авдотьюшке горе постучалось, рвётся, трудится, а из нужды не выбирается.

Пойдёт староста Тарас Савосин и при всех отчитывает батюшку:

– Что же ты, отец Василий, опять всё раздал?

– Так на помин же люди принесли, вот на помин всё и отдал.

– А сам-то что будешь есть?

– Ах ты господи! Вот яичко одно осталось. Его возьму, – крестится отец Василий. – А коли матушка выговаривать начнёт, к полковнице схожу потрапезничать.

Полковница – это батюшкина соседка. Прозвали её так потому, что муж ушёл на войну и вернулся в каком-то самом низком офицерском звании. В деревне как увидели его петлицы, так сразу и определили: полковник. Жена, стало быть, полковница.

Но однажды мы всем миром поняли, какой наш батюшка старенький.

Весна в этом году выдалась быстрой и тёплой. Снег в лесу и тот не сдобровал: в день-два растаял, и вода по овражкам устремилась к деревне. Наполнила пруд и прорвала плотину. Уж как она мчалась, как уносила огородные изгороди, а когда схлынула, оставила после себя размытые берега сухой в летнее время речушки, да такие, что они нависли над крохотным ручейком.

Детвора бросилась к ручью и собирала подарки, что принёс разлив. Кто кастрюлю находил, кто самоварную трубу, кто подушку из ивняка доставал.

Не заметили братья-двойняшки с Ефремова порядка, как промытый бугорок накренился над ними и тяжко упал.

Страшная весть быстро разнеслась по деревне, и к месту, где произошла трагедия, прибежали даже дряхлые старухи. Мужики не лопатами – руками разгребали тяжёлую промокшую землю. Долго разгребали молча и достали мальчишек. Только помочь им уже никто был не в силах.

Расступились люди, а над близнецами склонился отец Василий. Подрысник в земле, руки в земле, белая борода вся черноземом вымазана. Как стоял на коленях, так и повернулся к людям.

– А всё говорят, живому могилы нет. Всё говорят...

По щекам катились слёзы. И тут все увидели, какой их батюшка старенький: руки дрожат, плечи совсем сузились, лицо сплошные морщины разрезали.

– Как же душа возликует, почувствовав нашу молитву, обращенную к Господу, – вышел отец Василий с проповедью. – И Он нас слышит, каждого слышит. С опозданием, но понял я: лишь то наше слово до Него быстрее летит, когда оно солью напитано. Обольется душа слезами и ничего не скажет, только и произнесёт: Господи...

Встал батюшка на колени перед народом:

– Простите меня ради Христа.

И народ ответил ему преклонением...

# ФРУКТОВЫЙ КИСЕЛЬ

– Здравствуй, Марья Андреевна, здравствуй, голубушка!

– Подожди-ко, подожди-ко, голос припоминаю, а видеть я совсем ничего не вижу.

– Вот уж не думал, что ты меня не узнаешь. Как была артисткой, так и осталась.

– Ну-ка, ну-ка, меня во всю жизнь артисткой только один человек называл... Ваня, ты ли это?

Мария Андреевна Фагина только к старости для всех стала Андреевной, а так её запросто звали Марусей, Машенькой или тётёй Марусей. Это кто как к ней обращался: человек постарше или ровесник, или малыш совсем.

– Не торопиться? – оторвалась от объятия Мария Андреевна.

– Смотри на неё: думал, что ты плачешь, а она улыбается.

– Это с чего же мне достал глаза портить? От радости не плачут, от неё смеются. Уж как я рада, что ты не прошёл мимо. Не торопиться? Тогда посидим чуток.

Я помог ей спуститься с крылечка, и мы сели на лавочку.

– На солнышко погреться вышла?

– Да нет, к Леонтию собралась.

Леонтий – её муж. Она давно его похоронила. Леонтий Никифорович – мой учитель физики, милейший человек.

– Дойдёшь ли одна до кладбища, ведь говоришь, что не видишь совсем.

– Как одна? Я не одна. Я с ангелом. Он доведёт.

И потекла беседа. Ей было интересно, как я живу. Зачем, подумал, рассказывать Андреевне о проблемах? Всё и свелось к коротким радостным эпизодам.

– Уж как я рада, как рада, что всё хорошо...

Мы простились, как и встретились: обнялись, поцеловались. Пообещал, что непременно в следующий раз к ней загляну. Только не знал тогда, идя по дороге и оборачиваясь, что вижу Марию Андреевну в последний раз. Она стояла у палисадника и махала мне рукой. Повернул за угол крайнего дома, и Андреевна скрылась из вида.

Шёл и вспоминал, как тётя Маруся появилась у нас в школе. Она не учителем, как муж, пришла, а стала работать в школьном буфете.

Обедов настоящих для нас никто не варил, но чтобы нам не было голодно, готовили или чай с кусочком белоснежного батона, или фруктовый кисель. В большую перемену Мария Андреевна с подносом обходила классы и по списку отмечала, кому выдавала нехитрую еду. Только тем, кто мог заплатить за неё деньги.

Не все в деревне жили справно, и часто случалось, что кто-то из ребят не сдавал денег на завтраки. Но никто не оставался без чая и киселя.

В короткую перемену Андреевна обязательно находила таких и приводила в столовую.

Набиралось с десятков ребят. Они стеснялись, толпились около двери, готовые вот-вот выйти. Да только тётя Маруся, улыбаясь и обращаясь к каждому, всех приглашала подойти к столу. А на нём – все те же нарезанные ломтики батона и стаканы, полные фруктового киселя.

– Что это вы как не родные? А ну-ка, быстренько всё в рот. Промодничаете, на урок опоздаете, вот вам учителя зададут.

Мне несколько раз приходилось быть в числе таких. Мне также было совестно, но я с удовольствием хлебал чай или кисель и был несказанно рад этому.

Однажды буфетчица громко так, чтобы слышали, отчитала Андреевну:

– У тебя самой целый эшелон дома. Ты когда же перестанешь свои кровные деньги тратить на них? Леонтий, поди, тоже ругается. Давай-ка заканчивай, их хоть постоянно бесплатно корми.

А та ничего не сказала, ничего не ответила, а только улыбнулась нам, как-то по-особенному озорно и приветливо. И на следующий день опять привела ребят обедать.

# МОНАШЕСКИЙ ПОДАРОК

На втором или третьем курсе института в расписании появился новый предмет – старославянский язык. На занятие пришла энергичная, с ястребиным взглядом преподавательница, совсем молодая. Положила перед собой неприподъёмную книгу и, не раскрывая её, стала наизусть произносить текст.

Сказать, что мы были поражены таким знакомством и таким началом первой лекции, значит ничего не сказать, но то, как читала Рубцова, а именно эту фамилию носила преподавательница, как выговаривала каждое слово на нашем праязыке, все поняли: скостки не будет никому.

Мы ещё не знали, что кроме старославянского алфавита нам предстоит учить грамматику. И совсем не могли предполагать, как она, эта самая грамматика, требует не столько понимания, сколько большой усидчивости и зубрёжки.

Тем не менее, худо-бедно время привело нас к экзаменам, и тут совсем неожиданно: Рубцова требует добротного знания своего предмета.

Один за другим мои сокурсники кто выходил, кто «вылетал» с экзамена. «Ну что? Ну как?» – приставали те, кто ещё не был в аудитории. Ответ у всех один: просила прийти повторно.

Как сейчас помню текст, доставшийся мне для чтения и перевода, и несколько теоретических вопросов по той самой грамматике. Отрывок рассказывал о последних земных минутах Иоанна Крестителя.

Читаю – Рубцова молчит. Перевожу – Рубцова внимательно смотрит.

– Где вы так научились читать старославянские тексты?

Не мог я ей в ту минуту рассказать, где и как я учился читать старославянские тексты. Не их даже, а церковнославянские. Не то тогда было время, и я слукавил:

– Вы и научили.

Она понимающе улыбнулась. Не задала больше ни одного вопроса. Оставила без внимания грамматику, которой боялся, и в зачётке вывела: «хорошо».

Никто мне не поверил, что Рубцова – не моя знакомая или знакомая моих знакомых. Да я и не объяснял вовсе: хорошо и хорошо, просто давным-давно, когда мне было пять-шесть лет, церковному чтению и языку одновременно меня учил последний саровский монах.

Он появился у нас в селе тихо и покойно. Стояла под церковной горой нежилая избушка, и вдруг в один из тёплых весенних вечеров в окошке мелькнул огонёк.

Кто там? По деревенским улицам что худая, что добрая молва быстро разлетается. И все узнали: монах там какой-то поселился.

Ну, живёт и живёт, невесть какое событие. Тем более, только у нас действующая церковь, по всей округе их позакрывали. Почему бы и не пожить в никому не принадлежавшем домике человеку?

Так думали взрослые, но не мы. Нам-то интересен каждый новый человек, тем более монах. Одно слово для нас было пропитано тайной и страхом.

Набрались мы всё-таки храбрости и в сумерках тихохонько подобралась к дому. Дверь в сенцы прикрыта. В одном из окошек, выходящих на дорогу, мелькает огонёк.

– Свечка горит, – шепчет мне на ухо Сашок Калмыков.

– Не, это лампадка так потрескивает и мигает, – почти без звука отвечаю ему.

– Становись на завалинку, смотри, чего он там делает.

– Больно ты хитрый. Становись и смотри.

Во что бы наш спор перерос, не заскрипи калитка?

– Вы чего же это, словно тати, в темноте прячетесь? – это монах вышел на наше, как нам казалось, претихое бормотание. – Заходите, гостями будете. Я люблю гостей.

Что нам оставалось делать, пошли. Маленькая комната. Слева печь. Образа по стене. Лампадка горит.

– Что я тебе говорил? – шепчу Сашку.

– Да иди ты, – злится дружок.

Стол перед иконами. На нём несколько толстых книжек. Одна табуретка.

– Да вы садитесь, думаю, вам вдвоём места хватит.

– А ты где же, дяденька, спишь? – интересуюсь я у монаха и получаю от Сашка колючий тычок локтем в бок.

– На полу вот и сплю.

– Так на полу весь бок и руки перележишь.

– Да некогда мне долго спать: поздно ложусь и рано встаю.

– Вона, – в один голос произносим мы, будто понимая чего, и замолкаем.

– А давайте я вас мёдом угошу. С белым хлебом мёд.

– Эт мы любим, – опережает меня Сашок Калмыков.

Вкусным мёд был, такого больше не ел в своей жизни.

– В церковь-то ходите? – спросил нас тогда монах.

– А как же, завсегда вместе с бабушкой, – ответил я ему.

– Ну, тогда и помолимся Богу. Поблагодарим Его за хлеб.

Следующим вечером Сашок отказался идти в монахову избушку, я же пошёл. Мне было интересно около этого высокого, заросшего бородой человека. Говорил негромко, мягко, не по-нашему. Не столько приказывал, сколько просил:

– Давай-ка мы с тобой помолимся.

И мы молились. Он читал, я стоял рядом с ним. Легко и приглушённо звучал голос. Многие слова не понимал, и он не ругался, когда я его переспрашивал:

– Это как? Это что?

– Вот смотри, как в книге написано, – читал снова и объяснял, а потом незаметно мне все буквы и показал. Так же незаметно букочки стали в слова складываться, и к осени мы уже вместе читали молитвы. Он большую и длинную, а я самую короткую.

Ладно у нас с ним выходило, одно плохо – я стеснялся спросить, а он сам не говорил, как его зовут. Всё дяденька и дяденька.

В один из вечеров, когда по деревне разливался дым от горящей картофельной ботвы, дяденька монах мне сказал:

– Вот тебе от меня подарок, – и протянул икону. На ней Спаситель. Это потом я узнал – Спас Нерукотворный. – Этой иконе много-много лет. А ты больше ко мне не приходи, меня здесь больше не будет.

Перекрестил и проводил с крылечка. Я шёл домой и плакал.

Пройдёт время, и мне расскажут, что был тот монах из последних саровских.

Жив ли подарок монаха? – спросите вы. Жив. Скорее всего, я возле него живу.